

Бернгард Рубен

ВРЕМЕНА И ТЕМЫ



записки литератора

16+

Бернгард Савельевич Рубен

Времена и темы.

Записки литератора

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39484380

SelfPub; 2018

Аннотация

В книге автор рассказывает о длительном процессе познания и осмысления прожитой им жизни. Эти записки – повествование о сложном и противоречивом взаимодействии глубинной сущности человека с действительностью, приводящем к личным победам и трагическим ошибкам.

Содержание

Глава первая. Долгое прозрение	5
1. Пути времени	5
2. Раскрепощение	37
3. На пути к войне	69
Конец ознакомительного фрагмента.	83

...только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает – оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества.

Лев Толстой.

Так что же нам делать?

Глава первая. Долгое прозрение

1. Путы времени

В дни похорон Сталина я, старший лейтенант, служивший в гвардейской столичной дивизии, находился в воинском оцеплении у здания Дома союзов и смог беспрепятственно пройти внутрь, в знаменитый Колонный зал, где был установлен гроб с телом Вождя. С тех пор – уже более полувека – у меня сохраняются одиннадцать блокнотных листов, заполненных мелким почерком, на которые, отстранившись от удивления, я смотрю как на документ времени, эпохи, и в этом качестве привожу их здесь, в своих нынешних записках.

10 марта 1953 г., Москва

Только сейчас, вечером 10 марта, пришел домой впервые за эти пять дней.

Как скорбно медленно они тянулись – эти траурные дни – и как беспощадно и неумолимо быстро они пронеслись...

И вот мы уже проводили в последний путь Иосифа Виссарионовича Сталина, и откровенная действительность застав-

ляет привыкать каждого к совершенно невозможной для нас мысли, что Сталина нет с нами.

Я родился, когда вся забота о народе, и в том числе обо мне, легла на плечи товарища Сталина. И все 27 лет своей жизни я связывал имя Сталина со всеми делами, которые происходили в стране. Сталинские пятилетки, Сталинская Конституция, Великая Отечественная война – речь Сталина 3 июля, битва под Москвой, Сталинград, Курск, Десять Сталинских ударов, разгром Японии, – послевоенный план восстановления и развития страны, стройки коммунизма, борьба с засухой, полезащитные лесонасаждения, борьба за мир во всем мире...

Везде, всюду – рука, ум, воля, любовь Сталина.

В жизни своей я испытал два великих потрясения – Великая Отечественная война и смерть товарища Сталина. Первое потрясение я перенес с полной внутренней уверенностью в нашей победе. Я с самого начала войны, через самые тяжелые дни 1941—1942 годов пронес, может быть, еще наивную, но безусловную веру в победу, ибо знал, что руководит всем и отвечает за все – Сталин. Перенести смерть товарища Сталина помогает мне сейчас сознание того, что есть партия, партия Ленина – Сталина.

Сталин умер, но дело его живет. Дело Сталина непобедимо, ибо оно – правое дело. И вооруженные теорией, практикой, которые дал нам Сталин, его личным примером, мы пойдем по пути, указанному вождем, и дойдем до победы –

до коммунизма. Но в эти дни вместе с уверенностью в нашей победе все мы ощущаем себя осиротевшими, потерявшими любимого и дорогого отца.

Сталин и смерть – это несовместимые понятия.

Утром 6 марта в 7 часов я услышал по радио сообщение о смерти тов. Сталина. Я знал, что его положение безнадежно. За эти дни – 3, 4, 5 марта – я научился ненавидеть такие слова, как «кислородная недостаточность»,

«аритмия», «сопорозное (глубокое бессознательное) состояние». Но мы все ждали чуда. И никто не мог допустить мысли, что Сталин умрет. Я услышал по радио скорбный голос диктора, и до меня не сразу дошло, что говорится о смерти Сталина. Я услышал рыдания мамы на диване – и тоже до меня со всей силой еще не дошло, что Сталин умер: я не мог просто ни морально, ни умственно до конца воспринять эту весть. 27 лет я, живой и здоровый, жил вместе со Сталиным, читал Сталина, слушал, что скажет Сталин, был спокоен, потому что Сталин в Кремле...

Я просто не мог переломить ни ум, ни сердце – как это так: я жив, жизнь идет, а Сталин мертв... Мысли остановились, и я понял, что в этот момент ни о чем не думаю, – самое страшное состояние – в голове пустота. Но вот пустота эта чем-то еще неясным для сознания стала наполняться.

Я вышел на улицу и увидел траурные флаги. В этот миг я представил себе портрет Сталина и ужаснулся – невозможно было в сознании соединить портрет Сталина с траурны-

ми лентами вокруг. Но первое, что я увидел, придя в полк, – портрет Сталина в траурных лентах. Портрет этот висел и вчера, и позавчера на большом щите, где вывешивались бюллетени о его здоровье. Теперь все было снято. Один портрет в траурном обрамлении.

А в голове у меня, где-то в глубине, сначала тихо, потом шире и сильнее что-то звучало, звучало, и звуки становились отчетливее, скорбные звуки похоронного марша... Весь день потом – что бы ни делал – я чувствовал и слышал звуки скорби и печали – похоронный марш Шопена.

У нас в полку было много работы в те дни – полк должен был проходить по Красной площади в день похорон.

8 марта я был в Колонном зале. 7 часов вечера. Пользуясь своей военной формой и тем, что в оцеплениях и на постах стояли наши солдаты, я подошел к Колонному залу. Вся Москва была в те дни и ночи у дверей Дома союзов. Длинный, бесконечный живой поток двигался от Курского вокзала по Садовому кольцу до улицы Чехова. Оттуда по Пушкинской улице к Колонному залу. Люди по 12 часов стояли, шли и шли, чтобы прийти в Колонный зал.

Весь Дом союзов – в венках. Венки снаружи, всё в венках внутри. Иду по лестнице вверх, на второй этаж. Красный шелк тяжелыми темными складками свешивается с потолка, протянут вместе с черным крепом от люстр к углам.

Еще из двери я увидел гроб с телом Сталина. Неподвижное лицо, седые волосы, руки сложены. У гроба на шелко-

вых подушках – маршальская звезда, ордена, медали. Гроб наклонен, и мертвое лицо Сталина хорошо видно. Вот в этот момент, когда между мной, живым и здоровым, и лежащим в гробу товарищем Сталиным возникла таинственная сверхъестественная грань, за которую не может проникнуть мысль живого человека и с которой не может примириться его чувство, – в этот момент я впервые понял (не умом, а всем существом, душой), что Сталин умер, что случилось это совершенно невозможное трагическое событие.

Я оглянулся вокруг и увидел людей, которые, очевидно, долгое время уже находились у гроба. То остроболезненное ощущение и скорбное внимание, которое выразалось на наших лицах, тех, кто какие-то две минуты проходил мимо гроба, у них отсутствовало, ушло.

Я увидел кинорежиссера Герасимова. Он стоял в стороне и смотрел куда-то в сторону от гроба. Кто-то подошел к нему, и он повернулся, перемолвился с ним. И тут я опять с новой силой, во второй раз и уже окончательно поверил, что Сталин умер.

Они, живые, стоявшие у гроба и около, продолжали жить, чувствовать, двигаться, они были способны на действия. И хотя все их соображения и чувства, взгляды и движения были направлены на то место, где стоял гроб, были связаны с этим местом, меня вдруг поразила мысль, что все они уже не ждут никакого движения, никакого действия от мертво-

го неподвижного тела. Я вдруг подумал, что если бы Сталин был сейчас жив, то не было бы ни этого шествия, ни музыки, ни Колонного зала; что если бы он был сейчас жив, – все вокруг смотрели бы на него и ждали бы, что он сделает, что он скажет, куда он двинется. И никто не подошел бы к Герасимову, и Герасимов бы не смотрел в этот миг в сторону. Если бы Сталин сейчас был жив – все делалось бы по его воле, а не по воле тех, кто стоял у гроба и вокруг и исполнял свои обязанности, обязанности живых по отношению к мертвому...

Неумолима смерть. И даже гений не в силах побороть ее. Человек умирает. И тогда продолжают жить его дела, его мысли, его сердце, его пример.

Венки, венки... Я бросаю последний, прощальный взгляд на гроб с телом Сталина. Мартовские сумерки на улице. Тихо. Ни гудков автомобилей, ни разговоров. Только люди, чуть ссутулившиеся от смерти близкого родного человека, идут по улицам. Смерть Сталина – горе каждой семьи, горе всех трудящихся, мое личное горе, личная утрата. И в тишине я снова слышу траурный марш, звучащий в моем мозгу, музыку, которой живые соединяются со смертью...

9 марта я был на Красной площади. На бронетранспортерах мы проехали мимо Мавзолея, отдавая последние воинские почести своему Генералиссимусу.

В 12 часов, после пятиминутного молчания всей страны, мы завели моторы и стали подниматься по знаменитому подъему между Историческим музеем и музеем В. И. Лени-

на. Сколько раз я ходил на парад – каждый май и каждый ноябрь! Сколько раз я видел на трибуне товарища Сталина. Он стоял всегда в центре Мавзолея, на котором красными буквами было написано ЛЕНИН. Теперь я поднимался на Красную площадь и знал, что Сталина нет на Мавзолее, что ждать его нечего. Я увидел Молотова в черном пальто и черной шапке, Булганина, Маленкова. На Мавзолее надпись:

ЛЕНИН

СТАЛИН

На постаменте – гроб, на крышке гроба – фуражка генералиссимуса. С тяжелым чувством я проезжал мимо Мавзолея. Сегодня 11 марта. И с каждым днем все больше и больше чувствуешь, как мы осиротели, каким беззаветным другом трудящихся, каким великим человеком был Сталин и как мы все считали, что все, что он делает, что он говорит, все его качества – друга, учителя, вождя, полководца – все это так и должно было быть у него, и никто еще не думал, какие это ценные, редкие качества, какое счастье всем нам выпало жить и работать под его руководством.

Да, перед смертью все равны, но разница в том, что Сталин не умер, ибо живет в нас, дело его бессмертно, и в этом его величие.

Все это писал человек, родившийся в литературной семье (мой отец был киносценаристом и драматургом) и воспитывавшийся подле солидной домашней библиотеки, ак-

тивное освоение которой началось у него еще в отрочестве, когда чтение стало страстной потребностью души. К двенадцати годам были читаны-перечитаны мушкетерские романы Дюма («Три мушкетера» я мог пересказывать наизусть почти с любой открытой наугад страницы), Вальтер Скотт, Жюль Верн (любимый герой – капитан Немо). Затем проглочен принятый в то время юношеский набор книг Марка Твена, Гюго, Диккенса, Джека Лондона, а также, конечно, «Робинзон Крузо», «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена». Потом, тоже еще в отрочестве, в тринадцать лет была прочитана толстовская эпопея «Война и мир», а перед нею

– его «Севастопольские рассказы», ставшие для меня откровением. Помню, всю жизнь помню, с каким потрясением прочел я, двенадцатилетний, заключительные полстраницы во втором из этих рассказов («Севастополь в мае»):

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выра-

жение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (*bravoure de gentilhomme*)¹ и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест – ребенок без твердых убеждений и правил не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.

Я сидел тогда на кушетке, облокотившись о ковровый валик, на своем обычном месте для чтения. И – задохнулся, пораженный этими словами: они пронзили мою душу, отворили, отверзли ее своим волшебным ключом. Я замер, щеки мои покраснелись от возбуждения, пальцы были холодны, сердце гулко стучало – мне казалось, что я не прочел эти слова только что в книге, а что они всегда были во мне самом и вот теперь явились из недр моей собственной души, что это – и мое чувство, моя мысль, только я не умел ее так замечательно сформулировать, но жил именно с этим чувством, с этой мыслью всегда. И какое это счастье, что, оказывается, именно так и надо думать и жить, как хорошо,

¹ Храбростью дворянина (фр.).

что Толстой утверждает именно это, и как замечательно, что теперь я сам все это так ясно осознал... Так совершился у меня момент восприятия и открытия самой главной истины всей моей жизни. Восприятия от Толстого и открытия ее в самом себе.

Еще одно открытие – рассказы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Амок»... Начался процесс познания внутреннего мира человека. Тогда же были прочитаны взхлеб «Милый друг» Мопассана и его рассказы, а также «Жан-Кристоф» Романа Роллана, «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня» Фейхтвангера, «Генрих IV» Генриха Манна, «Декамерон» Боккаччо (так писалась эта фамилия на академическом двухтомнике). Плюс, конечно, все, что полагалось по школьной программе до восьмого класса включительно – и Фонвизин, и Пушкин, и Грибоедов... Война застала меня на лермонтовском «Герое нашего времени», ставшем главной книгой моей юности. Но я успел еще прочесть вышедший в тот момент впервые в СССР сборник рассказов Хемингуэя.

А за год до смерти Сталина я окончил – заочно – филологический факультет Московского университета, отделение русской литературы и языка. Причем, занимаясь в московской группе студентов, имел и, конечно, использовал возможность по субботам и воскресеньям слушать лекции и проходить семинары у знаменитых тогдашних профессоров и преподавателей.

Таким образом, я был приобщен к массиву мировой литературы, который основывался на общечеловеческой нравственности и воспитывал, утверждал в людях вечные ценности. И в личных взаимоотношениях, в быту мы старались непременно следовать этим нормам поведения. Добавлю еще, что приведенные выше записи с похорон Сталина принадлежали молодому человеку двадцати семи лет, в семье которого был, так сказать, прописан юмор. Мой отец обладал легким характером, был остроумен, знал толк в розыгрыше, экспромте и даже в тяжкие для него времена не расставался с шуткой и иронией. Слыша, например, по радио о том, что товарищ Сталин – лучший друг шахтеров, металлургов или физкультурников, он мгновенно добавлял к ним еще сапожников, ассенизаторов и еще кого-нибудь в этом роде (чем в очередной раз повергал в испуг мою мать). Именно от отца услышал я первый после смерти Сталина анекдот о нем, когда из ГУЛАГа потянулись вскоре первыми ласточками отпущенные зэки, в том числе и давний друг отца: «Все мы с ужасом думали: «Что будет, что будет, если Он...» А теперь с ужасом шепчем: «Что было бы!..» Однако вот, переживал я и мыслил о Сталине так, как записал.

Как же могла образоваться у меня в сознании подобная смесь? Безусловно, вторая составляющая ее продуцировалась тотальной идеологизацией всей нашей советской жизни. Приведу эпизод из моего детства. Когда мне было года

три-четыре, родители привезли меня на несколько месяцев из Ленинграда, где я родился, в Нижний Новгород к бабушке и бабушке. Моя пятидесятилетняя бабка взяла себе в помощь старую женщину, добрую и покладистую, которая относилась ко мне со всей душевностью. Так что мне представлялось, что у меня две бабушки – молодая и старая. (Действительно, моя бабка до преклонных лет была всегда подтянута, аккуратно одета, ходила в туфлях на каблуках и вела себя с достоинством и по-хозяйски.) А я был энергичный, живой мальчишка, выдумщик и организатор. И конечно, весьма восприимчивый к тому, что видел вокруг. В Ленинграде отец брал меня с собой на праздничные массовые демонстрации, которые проводились дважды в год – на 1 Мая, День солидарности трудящихся всего мира, и на 7 Ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И я затеял тут игру «в демонстрацию». Потребовал красной материи для флага, построил бабку, деда и няньку в колонну, сам встал во главе и зашагал с флагом в руке и с песней. Пел, полагаю, что-нибудь вроде «Вихри враждебные веют над нами...» или «Смело мы в бой пойдем за власть Советов...». За мной шла нянька и бормотала совсем иные слова, честила, должно быть, большевиков и их порядки и за то еще, что втемяшили в детскую голову свою бесовщину. Я же сразу это ухватил и недовольно воскликнул: «Старая бабушка, ты не то поёшь!» Об этом мне, взрослому, рассказала как-то моя бабка. Да, мы с детства уже знали, что надо петь...

Я был человеком (как и множество моих сверстников), который еще в детские годы, воспитываясь на русских народных сказках, сказках Пушкина, баснях Крылова, в то же самое время впитывал в себя революционные понятия и тематику, носил звездочку октябренька, затем, в отрочестве, стал юным пионером и ходил в школу и общественные места в красном галстуке, жил осененный словами провозглашаемой признательности: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» и, конечно, прекрасно знал имя замечательной девочки-узбечки, которую товарищ Сталин на многочисленных фотографиях, картинах, плакатах

держал на руках. В эти же тридцатые годы по радио и с эстрадных подмостков детские и юношеские голоса с чувством скандировали такой лозунг дня: «Пять – в четыре, пять – в четыре, пять – в четыре, а не в пять!». Это о том, что объявленные пятилетние планы строительства социализма в нашей стране должны и несомненно будут выполняться в четыре года. Пятилетки, как и Конституция и все замечательные свершения, были, конечно, «сталинскими». Как и лучшие люди: герои-летчики – «сталинские соколы».

Когда началась Великая Отечественная война, я вступил тем же летом в комсомол – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, а после войны, будучи офицером, – в партию. Тогда так и говорилось: «вступил в партию», и не надо было добавлять, что в ВКП(б) – во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков; партия была

в стране одна, и это мы считали совершенно естественным: если она ведет нас в светлое будущее – зачем нам нужны еще какие-то партии...

Итак, с раннего детства в наше сознание внедрялась идеология, которая пронизывала затем и школьное, и среднее профессиональное, и вузовское образование.

У меня сохранился мой школьный учебник истории СССР для младших и средних классов, первый учебник истории в жизни советского ребенка. Издан он был в 1937 году. Во «Введении» к нему, в краткой полуторастраничной главке «Наша родина» было сказано:

СССР – страна социализма. На земном шаре есть только одна социалистическая страна. Это наша родина. Она самая большая страна во всем мире. <...>

По природным богатствам наша страна самая богатая в мире. Все, что нужно для жизни, имеется в нашей стране.

С каждым годом у нас больше хлеба и других товаров.

С каждым годом у нас больше фабрик, заводов, школ, театров, кино. <...>

Ни в одной стране мира нет такой дружбы народов, как в СССР... В СССР нет паразитовкапиталистов и помещиков, как в других странах. В СССР нет эксплуатации человека человеком. <...>

Из отсталой страны наша родина стала самой передовой и могучей.

Вот почему мы так любим, так гордимся нашим СССР – страной социализма. <...> Путь к социализму указала нам великая партия коммунистов-большевиков...

Понятно, что такой учебник, помимо сообщения учащимся исторических сведений (тоже в определенной трактовке), имел своей целью воспитание советского человека, для которого все остальное человечество за пределами его родины было чуждым, если не враждебным. А далее последовали обязательные основы марксизма-ленинизма, диамат, истмат, политэкономия социализма, научный коммунизм, которые составляли наше понимание исторического процесса, выстраивали наш взгляд на развитие человечества и смену общественных формаций, на экономику. Этот идеологический фон постоянно присутствовал также во всей последующей трудовой деятельности. И в своем поведении в общественной сфере жизни, начиная с пионерских лагерей, с их торжественными линейками и собраниями отрядов, до собраний партийных и профсоюзных, мы строго придерживались установленных на каждом уровне ритуальных правил. Испытания, драмы, трагедии начинались тогда, когда эти правила входили в противоречие, сталкивались с общечеловеческими нормами нравственности, которых люди старались придерживаться в своем повседневном бытии.

Этих личных драм и трагедий было множество, но по большей части они проходили скрытно, без огласки. Чтобы

уцелеть после ареста близких людей, дети должны были в какой-то форме отречься от «врагов» – родителей, жёны – от мужей, вчерашние друзья – друг от друга. Однако в ходу были и публичные поношения, осуждения своих бывших товарищей по работе, на которых налагалось то или иное обвинительное клеймо идеологического свойства. Меня такие испытания миновали. Но в моем довоенном детстве совсем рядом происходили события, которые мои родители тщательно от меня скрывали. Исчезновение одной из близких приятельниц мамы вместе с ее сыном по имени Рид, моим тогдашним товарищем (названным в честь американского журналиста Джона Рида, автора знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции в России), мне объяснили их отъездом в длительную командировку. Судя по времени ареста, ее обвинили в троцкизме. О других подобных случаях я и вовсе узнавал спустя годы...

Подложность нашей жизни заключалась в том, что коммунистическая идеология очень долго сочеталась в нашем сознании с общечеловеческой нравственностью. Постулаты этой идеологии убедительно, как нам казалось, вбирали в себя идеалы справедливости, добра и правды, призывали к борьбе со злом, к защите угнетенных, несчастных, униженных и оскорбленных – о чем всегда страдала художественная литература, прежде всего великая русская классика, и серьезное искусство вообще. А властители, державшие в руках

это идеологическое знамя, в своей практической деятельности умело лицемерили и запутывали людей. Так, в разгар репрессий и вызванных ими семейных трагедий Сталин провозгласил: «Сын за отца не ответчик», что было двойной ложью, ибо никак не соблюдалось в реальности и с еще большим иезуитством разрушало связи отцов и детей, разделяло их. Потом другой властитель – Хрущев, частично разоблачивший злодеяния Сталина и стремившийся в заданных большевистских рамках быть для народа добродеем, почуяв необходимость укрепить идеологию, предписал советским людям «Моральный кодекс строителя коммунизма», который был подменой христианским заповедям (при советской власти гласно не упоминавшимся).

Мы жили в подмененном мире. Ходили по переименованным улицам, мыслили подмененными понятиями, жили по предписанным советским правилам, объявленными традициями, которые, однако, отменяли, заменяли исконные народные обычаи.

В середине 70-х годов моя школьная приятельница с мужем пригласили меня в поездку на их автомашине по древним русским городам (по Золотому кольцу, как с прицелом на иностранных туристов и с купеческим привкусом был объявлен этот маршрут). Мы побывали во многих провинциальных городах Средней России, и уже в начале пути я обратил внимание на наличие там улиц, названных в честь Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Сакко и Ванцетти, Воровско-

го, не говоря уж о центральной – проспекте Ленина. Вскоре стало ясно, что комплект этих названий будет повторяться в каждом следующем пункте: переименование улиц проходило кампанейски по всей Совдепии. Посадили в Америке на электрический стул рабочих-анархистов Сакко и Ванцетти, обвиненных в убийстве, – каждый советский город должен был возмущенно откликнуться на очередное злодеяние империалистов. А перед тем откликались на убийство Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Воровского... Как тут не вспомнить строки из стихотворения Константина Симонова «Улица Сакко и Ванцетти»:

У нас, коммунистов, хорошая память
На все, что творится на свете;
Напрасно убийца надеяться станет
За давностью быть не в ответе...
И сами еще мы здоровья стойкого,
И в школу идут по утрам наши дети
По улице Кирова,
Улице Войкова,
По улице Сакко – Ванцетти.

Но и без этих злободневностей повсеместно после большевистского Октября искоренялись все названия, напоминавшие прежнее бытие. И появлялись улицы Красноармейская, Милицейская, Краснофлотская, Профсоюзная, Комсо-

мольская... Таким образом достигались сразу две цели – идеологическая и историческая, вернее, антиисторическая: люди буквально на каждом шагу погружались в идеологический мир «интернационализма», ненависти к «врагам социализма», к «врагам трудящихся», и у них, тоже на каждом шагу, стиралась историческая память, утрачивалась связь времен, замещаясь одной только советской данностью. Большевики умело манипулировали людской психологией.

Особенно поразительно все это выглядело в Ростове Великом: ни одного старого названия улиц не было в этом древнем русском городе с тысячелетней историей! Зато добавились, сравнительно с предыдущими небольшими пунктами, улицы Карла Маркса, Бебеля, Декабристов и вдруг возникшего Гоголя (возможно, для того, чтобы горько спросить: «На каком свете живете, господа-товарищи?»). И когда мы не обнаружили здесь какого-то одного наименования из утвердившегося набора, я настоял – на спор – поискать еще, не пожалеть времени, и мы, поколесив, нашли-таки и эту, кажется, Профсоюзную, улочку...

Да, дети ходили уже по этим улицам. Но – не только дети. Прежних названий не знали уже и люди среднего возраста. Забыли напрочь и пожилые. Во время упомянутой поездки мне пришлось немало порыскать в том же Ростове Великом, расспрашивая встречных жителей, пока старая женщина, возившаяся в палисаднике, узнав, что меня интересует, пригласила зайти и направила к своему мужу, находившему-

ся поодаль в беседке. И от него – единственного! – я узнал, что когда-то в этом городе были Покровская улица, Лазаревская, Калмыцкая, Ярославская, Ветровая...

Конечно, за таким познанием, да еще в зрелом возрасте, не надо было ехать по старым русским провинциальным городам. Я родился не в Петербурге и не в Петрограде, а – в Ленинграде. И ходил там не по Невскому, а по проспекту 25 Октября, гулял не по Дворцовой площади, а по площади Урицкого (председатель Петроградской ЧК, убитый в 1918 году), по набережным Жореса и Робеспьера. И в Москве много лет не слышал таких названий, как Знаменка, Воздвиженка, Остоженка, – шагал по улицам Фрунзе, Калинина, Метростроевской. Но в столицах из-за их масштабности, мегаполисности эта историческая вивисекция была несколько сглажена, кое-что из прошлого еще оставалось, а что-то из прежних названий по державным соображениям и возвращалось (как Невский проспект, Дворцовая площадь в Ленинграде). В провинции же, причем именно в старорусской, глубинной, приволжской, произведенное насилие открылось мне в своей вопиющей сущности. То была унижительная смесь беспамятства и убожества, какой-то духовной бездомности, перекатности, люмпенства, обезличенности.

Разумеется, большевистская идеология вторгалась и утверждалась в сознании людей не только «географически». Искоренение, искажение исторической памяти, подмена общечеловеческих и насаждение новых – классовых, «проле-

тарских» – понятий шло массовым и непрерывным накатом через газеты, радио, плакаты и лозунги, учрежденные советские праздники, обязательный к изучению марксизм-ленинизм, через новоявленное искусство (прежде всего советский кинематограф) и художественную литературу социалистического реализма. Литература, искусство говорили уже не о вечных вопросах бытия, не о душе отдельного человека, о добре и зле в нем самом и стремлении к истине, а о революционной борьбе масс, о боевых и трудовых подвигах новой людской формации, о непримиримости к врагам и приверженности идее коммунизма. (Вспомним повести и романы с характерными названиями – «Железный поток», «Цемент», «Гидроцентраль», «Время, вперед!», «Как закалялась сталь», «Хлеб»... Кстати, почти все они переходили и на киноэкран.)

Но, более того, она, идеология, утверждалась одновременно и за счет самого здравого смысла людей, за счет понимания естественного развития общества. И в том состояла фантазмагория нашей жизни, в которой ненормальность существования становилась нормой: оттесняя, подавляя в человеке здравый смысл, идеология изменяла его взгляд на действительность, на очевидность. Мы понимали и не понимали происходящее вокруг нас. Нам все было ясно теоретически, и в то же время ощущался некий разрыв с окружающей реальностью. Мы обходили эти тупики, считали, что чего-то еще не постигли, не уразумели, но все идет должным обра-

зом. Вера и чувство самосохранения вели нас в том мире. Я говорю, конечно, о себе и таких, как я.

Я родился в 1926 году, в то время, когда уже был Советский Союз – СССР, когда Петроград (Санкт–Петербург) два года как назывался Ленинградом (переименовали после смерти Ленина), а победно закончившаяся для большевиков Гражданская война, вызванная ими и необходимая им для окончательного утверждения своего Октябрьского переворота, сделалась одной из главных героических тем советской литературы, кинематографа и популярных песен. И сам переворот назывался уже Великой Октябрьской социалистической революцией («Когда мятеж кончается удачей, он называется иначе»).

Таким образом, шесть с половиной десятилетий мною было прожито в советскую эпоху, и, естественно, я хочу изложить здесь о ней свое представление. Разумеется, отдавая себе отчет в том, что на эту тему написаны, как изящно тогда говорили, «монбланы» книг. Но я не открываю Америк, а только записываю сложившееся у меня понимание и чувство пережитого времени, анализируя свое тогдашнее восприятие окружавшей жизни.

Общеизвестно, что время и место рождения уже сами по себе являются предопределяющими обстоятельствами в формировании первоначального взгляда на мир. Мне не довелось соприкоснуться с классическими, по Марксу, эксплу-

ататорами – пресловутыми «помещиками», «фабрикантами и заводчиками», ни лицезреть живых «графьев и князьев», а об «ужасном царском режиме» я узнавал также из советских книг, кинофильмов и школьных учебников. Я знал, что живу в стране, где строится самое справедливое в истории человечества общество, в котором власть принадлежит трудящимся, рабочим и крестьянам. К тому же, моей средой обитания были благополучная по тем временам в материальном отношении семья, замечательный по красоте город и одна из лучших – «образцовых» – ленинградских школ. Но вовсе не следует считать эту мою среду какой-то изысканной, закрытой, элитарной, – мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате, из которой перегородкой был выделен кабинет отца, а во дворе нашего дома, на улице, я с детства общался со сверстниками из проживающих здесь семей – сыновьями дворника-татарина, медсестры-еврейки, русского шофера грузовика и тоже русского плотника... И одеты мы все были в советский ширпотреб, так что никто из нас особенно не выделялся, разве только за счет родительской ухоженности. И в школе, если говорить об одежде, все выглядели аккуратно и весьма скромно, независимо от более широкого спектра профессий своих родителей, нежели в моем дворе (тогда еще не вводили общую школьную форму, как и не разделяли школы или классы на мужские и женские). И вели мы себя, при всей разности характеров, также в должных рамках. Правда, дважды в свои отроческие годы я нахо-

дился летом в лагере Литфонда, открытого для детей ленинградских писателей, о котором вспоминал впоследствии, как о своем «пушкинском лице»... В этой действительности я и пребывал вплоть до Великой Отечественной войны.

А то, как на самом деле происходило тогда строительство нашего социализма, я постигал уже гораздо позднее, открывая для себя иную действительность, в которой также жила моя страна – с массовыми репрессиями населения и многомиллионными жертвами. Однако я не раз убеждался, что подобные открытия делались потом множеством людей. Будто у нас было не только две действительности, но и два народа...

Мое прозрение было поистине затяжным, с возникавшими у меня недоумениями, которые, однако, еще долго не выводили из плена представлений о жизни, навязанных идеологией.

Когда с середины 1943 года в Москве стали раздаваться салюты в честь громивших немцев на фронте советских войск и освобождения наших крупных городов, долгожданная Победа начала приобретать явственные очертания. И возникло чаяние, что затем наступит новая светлая жизнь, пусть трудная, скудная, со скорбной памятью, но – человеческая, с общей взаимностью между людьми, поддержкой, справедливостью. Ведь столько все вынесли, выстрадали, прошли такой тяжкий путь лишений, горестей, потерь в каждой семье...

Но в августе 1946 года как знак послевоенной политики грянуло грозное постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», вызвавшее у многих людей, причастных прежде всего к литературе и искусству, растерянность, недоумение, страх.

Оно сразу возродило в обществе атмосферу преследования «врагов», столь памятную по довоенным временам. В писательской среде это постановление называли «постановлением по Зощенко и Ахматовой». О Зощенко там говорилось, как о «пошляке и подонке литературы». На него налагался запрет печататься. Такой же запрет налагался и на Ахматову, которая характеризовалась как «типичная представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии».

При чтении этого постановления ошеломляла как сама ниспровергательная критика известных в литературе и почитаемых имен, так, в не меньшей степени, и разносная, растапывающая, оскорбительная ее форма. Это было жестокое и грубое поношение, на которое ни Зощенко, ни Ахматова заведомо не могли публично ответить: всемогущая власть уже поставила на них свое обвинительное клеймо, и они в глазах советских людей превратились в прокляженных...

Вот когда я впервые остро почувствовал возникший тупик – озадачивающее, пугающее противоречие между тем, во что полагалось верить (и во что мы верили), и тем, что происходило под этим знаменем в действительности. Но од-

новременно мое тогдашнее сознание искало и находило выход из опасного тупика. Прежде всего, постановление «О журналах...» и последующие постановления ЦК ВКП(б) по театру, кино, музыке сразу и прочно связались с именем Жданова, рьяного секретаря ЦК по идеологии, который, не стесняясь в выражениях, делал «разъяснительные» доклады по этим партийным документам перед писателями, композиторами и другими деятелями искусства. И весь тот период окрестили в кругах интеллигенции «ждановщиной» – по аналогии с «ежовщиной» второй половины 30-х годов. Но ведь было известно, чем кончил Ежов – он был сперва перемещен Сталиным со своего поста главы НКВД на второстепенную должность наркома речного флота, а затем и расстрелян, как об этом доверительно шептались после его окончательного исчезновения.

Таким образом, Гениальный Вождь и Отец народов оставался в нашем представлении непогрешимым, виновниками перегибов являлись его сатрапы. Более того, мы даже восхищались его абсолютной принципиальностью и объективностью – ведь под резкую критику попала даже опера Вано Мурадели «Великая дружба» о замечательной дружбе Ленина и Сталина, воспетой причем его соплеменником-грузином. Однако – никакой скидки ни на тему, ни на восторженное ее воплощение, ни на национальность композитора! Напротив: строгое осуждение оперы как формалистического, порочного в идейном отношении произведения. (А в продол-

жение такой его замечательной принципиальности в этом же постановлении сурово осуждались выдающиеся композиторы Шостакович, Прокофьев, Мясковский, которые, по партийной оценке, упорно придерживались в своем творчестве «формалистического, антинародного направления».)

И главное: во всех постановлениях ЦК основополагающим было требование «высокой идейности». Но «высокую идейность» мы понимали тогда как «народность», как жизненную правду, как великие идеалы социальной справедливости и людского блага. И потому искоренение «бессодержательности», «аполитичности», «формализма», «пошлости», «низкопоклонства перед разлагающейся культурой Запада», к чему призывала наша коммунистическая партия, должно было считаться правильным. А мы, значит, этого недопонимали, недооценивали, не видели дальше своего носа. И большинство людей, кого все это так или иначе затрагивало, не предполагая никакой иной стратегической цели в высочайших решениях, указаниях и развязанных кампаниях, старательно вникали в ошибки раскритикованных журналов, фильмов, опер и пьес. Дабы учесть их в своем творчестве. Я тогда довольно часто бывал вместе с отцом в Доме писателя (впоследствии – ЦДЛ) на разного рода встречах и обсуждениях и помню, что так говорили не только с трибуны, а и в кулуарах между собой. (Конечно, явление это имело свою разностороннюю психологическую подоплеку.)

Но стратегическая цель у Великого и Мудрого Вождя в

этом его послевоенном курсе на подавление всяких гуманитарных надежд – такая стратегическая цель, как я понял гораздо позднее, у него была...

Однако послевоенное мракобесие не ограничилось данными постановлениями, связанными с именем Жданова, умершего от инфаркта в 1948 году, и продолжалось до самой смерти Сталина, перекинувшись на поле науки. Были запрещены генетика и кибернетика, одна из которых поносилась как «продажная девка империализма», другая как «лженаука», а ученые-генетики, все эти «менделисты-морганисты-вейсманисты», подвергались гонениям как буржуазные агенты. А ведь Сталина называли также корифеем всех времен и народов, то есть величайшим деятелем науки и искусства. Этот обскурантизм развернулся во всю мочь параллельно с яростной борьбой во всех областях культуры против «низкопоклонства перед загнивающим Западом», ставшей сразу антисемитской кампанией государственного масштаба с травлей и преследованиями «безродных космополитов». Наконец, была арестована целая группа известных московских врачей, большей частью евреев, обвиненных в умышленном вредоносном лечении умерших ранее вождей, в том числе Жданова. Газеты выходили под разгромными шапками «Убийцы в белых халатах», «Отравители». «Убийц-отравителей» искали и находили везде – от сельских медпунктов до самых крупных областных и столичных клиник. Врачей-евреев увольняли, третировали, арестовывали.

вали...

И после всей этой свистопляски, вивисекции, антисемитского угара, страха – такая моя запись с похорон Сталина?! Но, наверное, вполне понять происходившее тогда с людьми может только тот, кто сам жил в то время и дышал тем особого состава воздухом сталинизма.

Прежде всего: авторитет Сталина был абсолютно непрекаем. Это утвердилось еще в тридцатые годы. Было провозглашено, что «Сталин – это Ленин сегодня». Теперь он стал Вождем мирового пролетариата. И под его мудрым руководством происходило строительство социализма в СССР. А победа в Великой Отечественной войне сделала имя Сталина божественным. Он предстал земным Вседержителем, заменил людям Бога, изгнанного большевиками из сознания народа, из общественного бытия.

21 декабря 1949 года на торжественном заседании в Большом театре по случаю семидесятилетия И. В. Сталина было прочитано «Слово советских писателей товарищу Сталину». Стихи были написаны А. Твардовским в соавторстве с М. Исаковским, А. Сурковым и Н. Грибачевым. Вот некоторые строфы из этого «Слова»:

Великий вождь, любимый наш отец,
Нет, не слова обращены к Вам эти,
А та любовь простых людских сердец,
Которой не сравнить ни с чем на свете.

Любовь людей, чьим доблестным делам
Дивится мир, как небывалой были,
Любовь людей, что Ленину и Вам
Свою судьбу, судьбу страны вручили.

<...>

Спасибо Вам, что Вы нас привели
Из тьмы глухой туда, где свет и счастье,
Что в самый трудный час родной земли
Спасли ее от гибельной напасти.

Добавлю, что в 1952 году (то есть за год до смерти Сталина и в продолжавшееся тогда время лютого искоренения духовной и всякой иной свободы) Александр Трифонович Твардовский закончил цикл стихов о Сталине. Приведу несколько строк из одного его стихотворения:

Таких, как я, на свете большинство,
Что не встречались с ним кремлевском зале,
В глаза вблизи не видели его
И голоса в натуре не слышали.
Но всем, наверно, так же как и мне,
Он близок равной близостью душевной,
Как будто он с тобой наедине
Беседует о жизни ежедневно,

О будущем, о мире и войне...

Так думал и чувствовал – несомненно искренне – замечательный поэт, у которого тогда находился в Чукотлагере родной брат, осужденный на десять лет после пребывания в плену, а еще ранее, в начале 30-х годов, была раскулачена и сослана в Сибирь вся его семья во главе с отцом.

Очевидно, в этих думах и чувствах множества людей, выраженных в приведенных стихах о Сталине, кроется разгадка того психологического феномена, о котором идет речь и который впервые отразил в своем романе

«1984» Оруэлл, закончив роман тем, что герой его после всех жестоких испытаний, мучений, страданий полюбил Старшего Брата.

Конечно, советский феномен имел свои собственные исторические корни и свою действительность. В атмосфере того времени, в тех обстоятельствах нашего бытия и с той идеологией, внедренной в наше сознание, – тиран Сталин, этот движитель всех наших тогдашних бед, явился для множества людей психологической опорой в их жизни, символом стабильности, светочем правды и справедливости в противоборствующем, страшном и непонятном мире. Не зря так много говорилось, что Он наверняка не знает о преследовании честных людей и творящихся беззакониях, что продолжают действовать «враги народа», с которыми именно Сталин борется всю свою жизнь. И весь этот многосложный и

многопричинный процесс привел к тому, что триада возвышенных человеческих чувств – вера, надежда, любовь – обратилась у большей части народа на Сталина.

Моя дневниковая запись, приведенная в начале, свидетельствует, что и я был в числе этого множества людей.

2. Раскрепощение

Оттепель

В конце апреля того памятного 1953 года, перед самыми майскими праздниками, я шел по улице 25 Октября (которая теперь снова стала Никольской) в сторону Красной площади. День был солнечный, яркий, теплый, как и весь этот апрель с рано и бурно зазеленевшими деревьями и газонами. А прошло всего полтора месяца с похорон Сталина, и жгучее горе тех дней, когда было непонятно, как жить дальше и возможно ли это вообще после его смерти, никак не согласовывалось с благодатно развернувшейся весной. Приближавшиеся же майские праздники казались и вовсе неуместными. Я шел по своим делам в этом смутном состоянии и вдруг услышал раздавшуюся из уличного репродуктора громко, на всю мощь, эстрадную мелодию «Цветущий май» в новой для меня джазовой аранжировке – веселой, даже радостной и задорной, чуть ли не разудалой. Я остановился от неожиданности, а «Цветущий май» продолжал звучать в своем ударно-джазовом ритме, органично вторгающемся в напевную мелодию.

Я сразу воспринял услышанное как сигнал: ведь все послевоенные годы джаз – эта «музыка толстых» – был почти

под запретом, а все его поклонники считались неблагонадежными людьми с несоветскими пристрастиями. Значит, там, на самом верху, происходит какое-то движение, коли Всесоюзное радио позволяет себе такую музыку.

И дальше по пути я слышал в себе этот радостный «Цветущий май» и постепенно, глядя на солнце, на густозеленые деревья, на шедших по улицам людей, начал явственно ощущать, что есть в жизни нечто более значительное, всеобъемлющее и всесильное, чем даже земной вседержитель, и что это – сама жизнь.

А через год из тюрем, лагерей и ссылок начали возвращаться выжившие там люди. Вернулся после семнадцати лагерных лет давний товарищ отца, киновед, книгу которого с дарственной надписью отец хранил все эти годы на полке своей библиотеки; вернулась после такого же срока мать моего тогдашнего друга, отец которого, журналист, работавший с Горьким, был расстрелян в самый пик репрессий. В этом же 1954 году вышла в свет повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», давшая название всему начавшемуся периоду нашей жизни. Обозначился сдвиг окаменевших пластов бытности. И наконец, в феврале 1956 года грянул XX съезд КПСС, завершившийся докладом Н. С. Хрущева с разоблачением ужасающих беззаконий Сталина.

Доклад Хрущева, прочитанный им 25 февраля на закрытом заседании после официального окончания XX съезда партии и не обсуждавшийся там, потряс делегатов. Один из

них уже в постсоветское время, лет сорок пять спустя, рассказал в телевизионной передаче о сохранившемся навсегда в памяти впечатлении от того события. Слушали Хрущева в гробовом молчании. Все словно оцепенели, замкнулись в себе, даже не переглядывались, не то чтобы переговариваться. И так же молча, запечатав уста, глядя только перед собой и под ноги, не закуривая на лестнице, спрятавшись каждый в свой панцирь, обособленно друг от друга расходились из Кремля...

Потом этот доклад, переложенный в «Закрытое письмо ЦК», стали читать всем членам партии в их первичных организациях, а за ними – и беспартийным по месту работы. Воспринималось оно как «Правда о Сталине». Правда была неполной, обработанной идеологически, речь в «Письме» шла только о Сталине и использованных им в своих целях карательных органах, о попрании Сталиным «ленинских норм партийной жизни», об извращении «принципов социалистической демократии» и вопиющих нарушениях «социалистической законности». Само основополагающее учение Маркса – Энгельса – Ленина оставалось по-прежнему неизменным, – нужно было лишь очистить его от этих вопиющих нарушений и извращений, смело и решительно вскрытых партией. И объявлялось о «возвращении к ленинским нормам партийной жизни», и о том, что карательные органы, фактически стоявшие над партией, также понесшей свою долю в общем уроне, взяты теперь под ее строгий контроль.

Имя Сталина исчезло из эмблемного перечня святых имен, обозначавших это «вечно живое» учение. А четверть века сталинской тирании с миллионами жертв массовых репрессий партийные идеологи научно определили общетеоретическим эвфемизмом: период культа личности. Имелся в виду тезис Маркса, считавшего, что историю творит народ, и отрицавшего в социалистическом движении всякий «культ личности»...

Но и того, что было тогда сказано людям, хватало для глубоких раздумий – тем, кто почувствовал такую жгучую потребность осмыслить произошедшее с народом, со страной. Правда о Сталине, на которого молились столько лет, была вторым после его смерти общественным потрясением. Одни приняли ее с болью, горечью, но с жадной этой правды и стремлением к справедливости; другие, не в силах объять, ошарашенно замерли, сомневаясь, привычно выжидая, соблюдая осторожность и внутренне сопротивляясь разлому в самих себе; третьи не хотели ее принять умышленно и яростно возражали, это была не их правда, опасная, враждебная им самим. Разделение людей происходило по степени их непосредственной причастности к режиму и по мере имевшейся у них совести.

На этот раз я был среди тех, у кого открылись глаза на вершившиеся Сталиным злодеяния. Точно по раздавшемуся в душе удару колокола, отворилась подспудная часть сознания, в которой с детских лет сохранялись шорохи, страх,

шепот, потаенные взгляды, жесты, иносказания родителей, родственников, других приходивших в дом взрослых; обобщились, казалось, разрозненные факты из судеб знакомых и приятелей, чьи родители были расстреляны или отправлены в лагерь; вскрылись тупики мысли, в которые идеология загоняла твое понимание, твои оценки общественных явлений и событий, твой ум. И начала осыпаться, отшелушиваться вся та короста лжи, раболепия, приспособленчества, которая обволакивала, запеленывала, сковывала в тебе живую душу. Сработала наконец долго сдерживаемая рвотная реакция на весь послевоенный угар, в котором мы жили и который старались терпеть, принимали как должное. Но пуще всего проявились страстная тяга к правде, ее поиск и утверждение.

Это было время оттепели. И постепенно – при всех возникших в тот период «заморозках» – стали живительно развиваться литература и искусство. Толстые и тонкие журналы, книги, театры, киноэкран шаг за шагом заговорили на неподступные до тех пор темы. Но наибольшее влияние на процесс духовного раскрепощения общества оказала тогда литература, ее откровенное и сокровенное слово. А среди толстых литературных журналов, этих ведущих проводников слова, особо выделился в 60-е годы «Новый мир», главным редактором которого был в то время Александр Твардовский. Именно в «Новом мире» в ноябре 1962 года было опубликовано заглавное произведение всей оттепели – по-

весть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Это была повесть о зэках, сделавшая гласной тему ГУЛАГа. Для того чтобы совершился такой прорыв, Твардовскому пришлось обращаться к самому Хрущеву.

Новое слово было сказано журналом и в такой жгучей теме, как Отечественная война. «Новый мир» впервые опубликовал Константина Воробьева (повесть «Убиты под Москвой») и целый ряд повестей Василя Быкова, в том числе «Мертвым не больно» и «Сотников». Повесть «Мертвым не больно» подверглась яростной атаке критики, называвшей себя патриотической. Вообще вся деятельность «Нового мира» проходила под изматывающим давлением и запретами со стороны идеологических органов власти и цензуры и под непрерывным огнем консервативной критики. Журнал находился в положении крамольного издания.

В те годы в «Новом мире» были напечатаны мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», «Хранитель древностей» Ю. Домбровского, «Тёркин на том свете» А. Твардовского, «Театральный роман» М. Булгакова, «Созвездие Козлотура» Ф. Искандера, «Святой колодец» и «Трава забвения» В. Катаева, «городские» повести Ю. Трифонова... До сих пор я храню в своей домашней библиотеке – при всей жесточайшей нехватке места для новых книг в и без того тесной квартире и при открывшихся широчайших информационных возможностях Интернета – годовые журнальные комплекты того славного десятилетия «Нового мира», в кото-

рых, лишь прикоснись, по-прежнему ощущается дух столь памятной и неотъемлемой от твоей жизни минувшей эпохи. И знаю, я не одинок в таком хранении.

Еще одной жгучей и, наверное, самой заповедной лично для Твардовского темой была «деревня», судьба крестьянства. Эта тема присутствовала в каждом журнальном номере, ей посвящались произведения художественной и документальной прозы, публицистические и критические статьи. В «Новом мире» постоянно выступали наиболее известные публицисты-деревенщики В. Овечкин, Е. Дорош, Ю. Черниченко. Здесь были опубликованы повесть С. Залыгина «На Иртыше» – первое тогда произведение о раскулачивании крестьян, повесть Б. Можяева «Из жизни Федора Кузькина», роман Ф. Абрамова «Две зимы, три лета», «Вологодская свадьба» А. Яшина, «Плотницкие рассказы» В. Белова... Так, через литературу, я, городской житель по рождению и служивый человек по своей многолетней армейской судьбе, подошел к осознанию трагедии, совершившейся с российским крестьянством в советское время.

Оказалось, что подлинная история изрядно отличалась от того, как была художественно представлена Шолоховым в его известном романе «Поднятая целина», многократно издававшемся при Сталине (да и потом тоже), и от того, как она излагалась в школьных и вузовских учебниках. Не говоря уже о главном нашем катехизисе

– «Истории Всесоюзной коммунистической партии (боль-

шевилов)», опубликованной впервые в 1938 году, после окончательной расправы Сталина с соратниками Ленина, занимавшими еще ответственные посты в партии и в правительстве. В повседневном обозначении эта книга в соответствии с подзаголовком чеканно именовалась «Краткий курс», который, как это также значилось на обложке, был «Одобен ЦК ВКП(б)». Было широко известно, что в «Кратком курсе» одна глава – знаменитая философская глава «О диалектическом и историческом материализме» – написана лично товарищем Сталиным. И все наши учебники по советской истории основывались на данной «сакральной» книге.

А другую, подлинную, историю мы собирали потом по крупицам из разных источников (не только из художественной литературы). И все это познание сопровождалось для меня неожиданными открытиями.

В разоблачительном докладе Хрущева крестьянская тема была обойдена. Там говорилось, прежде всего, о репрессиях, которым подвергались известные партийные и государственные деятели, объявленные «врагами народа» и чей смертный приговор был предопределен Сталиным; о расстрелянных во второй половине 30-х годов советских маршалах (трех из пяти имевших это высшее воинское звание) и о репрессированных в Красной Армии командирах всех уровней, попавших в широкозахватный прокос военных кадров; упоминались понесенные потери и среди видных работников промышленно-

сти. Позднее, на этой волне стали появляться в печати сенсационные материалы о погибших тогда же знаменитых писателях, ученых, артистах. И в общественном сознании именно эти годы с их раскаленным громкими арестами 1937-м, ставшим знаковым, определились как годы Большого террора. Но при всей интенсивности этой волны репрессий, впоследствии оказалось, что наиболее массовыми они были еще раньше – в конце 20-х – начале 30-х годов. И пришелся тот первый ударный накат на деревню, на российское крестьянство – самую многочисленную часть народа.

Это явилось для меня неожиданностью. Со временем, читая честные книги, я постарался хотя бы примерно разобраться в злосчастной судьбе наших земледельцев, «братьев по классу», как их называли советские идеологи. То был период реконструкции хозяйства с целью перестроить Россию, решительно характеризовавшуюся большевиками страной технически и экономически отсталой, аграрной, с пережитками феодализма, крепостничества и патриархальщины, – в передовую, социалистическую страну. Реконструирование экономики России большевики во главе со Сталиным решили осуществить уже на плановой основе. А провозглашение «планового начала» означало конец нэпа – ликвидацию всех рыночных отношений в сфере производства и потребления, которые срочно ввел Ленин, чтобы спасти свою власть после экономического краха военного коммунизма.

Но самым острым в период реконструкции оказался для

большевиков аграрный вопрос. В него упиралась вся их стратегия построения социализма в СССР, ибо только через деревню, через продажу за границу хлеба и сельскохозяйственной продукции они могли тогда получить валюту на закупку там машин, станков, оборудования для целых заводов и фабрик, чтобы произвести таким образом свою социалистическую индустриализацию страны. И началась реконструкция сельского хозяйства с наступления на кулака – на наиболее самостоятельного, зажиточного, предприимчивого хозяина в деревне, использовавшего труд наемных работников для товарного производства продукции. От экономических мер побуждения кулака к увеличению продажи хлеба государству большевики быстро перешли к радикальному решению этого вопроса – к раскулачиванию, используя свою укрепившуюся государственную власть. Одновременно они перешли к форсированной коллективизации бедняцких и середняцких хозяйств. Вскоре был провозглашен окончательный приговор – «ликвидация кулака как класса», сопровождаемая «сплошной коллективизацией» всех остальных крестьян без каких-либо оговорок насчет объявленного ранее принципа добровольности. Массовый результат этой силовой политики был достигнут в 1929 году, названном Сталиным в его одноименной статье «годом великого перелома».

Так, при всей переломности, которая вообще происходила в жизни страны после отмены нэпа, исповедуемый большевиками революционный, идеологический подход к пере-

устройству общества прошелся своим безжалостным катком, в первую очередь именно по деревне. Не зря на Руси издавна говорилось: «Любой изъян ложится на крестьян». По подсчету одного из наших известных историков, только от раскулачивания в те годы пострадало около девяти миллионов человек.

У раскулачиваемых изымались земля, скот, сельскохозяйственный инвентарь, все прочие средства производства, и все это распределялось между бедняками и середняками – так власть, продолжая политику и практику «ожесточенной классовой борьбы», перетягивала середняка на свою сторону, приобщая его к своему «социализму». А раскулаченные – целыми семьями (мужчины, женщины, старики, дети) выселялись из своих домов и ссылались в Сибирь, на Север, в глухие таежные места. Тысячи их погибли по дороге в телятниках вагонах или были расстреляны за сопротивление при лишении их отчего крова. Немало было раскулачено и середняков. Фактически под это насилие можно было подвести каждого имущего, крепкого и трудолюбивого крестьянина. В составленном по указанию Сталина специальном документе кулаком признавался любой сельскохозяйственный производитель, занимавшийся также торговлей, построивший мельницу, маслобойню, имеющий кузницу...

О трагедии российского крестьянства при большевиках имеется множество документальных публикаций, исторических исследований, публицистических и художественных

произведений. Изучены и различные позиции большевистских вождей «по аграрному вопросу», в сопоставлении которых исследователи находили реальные, на их взгляд, возможности избежать этой чудовищной трагедии. Но даже оставляя в стороне утверждение о неприменимости сослагательного наклонения при рассмотрении исторического процесса, приходишь к выводу, что крестьянство в России в XX веке после Октябрьского переворота и победы большевиков в Гражданской войне было обречено на такую страшную участь. Как известно, одно из главных положений горячо воспринятой и выправленной Лениным на свой лад революционной теории Маркса твердо определяло, что построение социалистического государства происходит через диктатуру пролетариата, а недостаточно сознательному из-за приверженности к частной собственности крестьянству отводилась при этом роль ведомого рабочим классом необходимо-го, но послушного союзника. Так сказать, «младшего брата» или даже просто попутчика на всемирно-исторической дороге в светлое будущее. И судьба его была полностью подчинена осуществлению этой манящей цели, указанной революционной теорией.

В читанных мною книгах писалось, конечно, и о долгосрочном кооперативном плане Ленина (к которому тот пришел в ходе нэпа), и о позиции Бухарина, крестьянского заступника в период реконструкции, и о прицельной критике

Бухарина, как «защитника кулаков», Сталиным (уже тогда готовившим грядущее уничтожение своего наиболее авторитетного после Троцкого соперника в партии). В споре этих двух курсов – эволюционного (весьма краткого, остаточного от нэпа) и революционного – решением руководящих органов большевистской партии был утвержден насильственный курс Сталина, возведенный им в систему. В партии было много радикально настроенных коммунистов, желавших одним махом, одним ударом по «врагам» переделать страну, их и привлекал на свою сторону, на них и опирался Сталин. Владевший обществом дух насилия сделал преимущественным именно такое развитие событий.

И даже охвативший в 1932 году обширные территории страны голод несколько не изменил политику Сталина. Планы поставок колхозами зерна государству оставались прежними. В районах, охваченных голодом (Северный Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье, Украина), насчитывалось 25—30 миллионов человек. Однако Сталин не только не оказал никакой помощи голодающим, но, не считаясь с жертвами, продолжал производить плановое изъятие хлеба на экспорт даже отсюда. Это был второй акт трагедии крестьянства в СССР, получивший название голодомора, и, по современным данным, число жертв в нем составило около восьми миллионов человек (дополнительно к девяти миллионам пострадавшим при раскулачивании).

Такова была *почва*, на которой после произведенной в

стране реконструкции возростали в период социалистической индустриализации знаменитые стройки – Днепрогэс, Магнитка, Челябинский тракторный... Возростали на деньги, добытые ограблением деревни и превращением крестьянина, хозяина на земле, в бесправного работника, фактически отстраненного при колхозной системе от распределения продукта своего труда.

А чрезвычайные меры для ускорения коллективизации и такие же бешеные темпы последовавшей за нею индустриализации широко мотивировались грозным доводом о необходимости быстрого создания мощной обороноспособности первого в истории человечества государства рабочих и крестьян, на которое точат зубы империалисты всего мира. Утверждалось, что история оставляет нам слишком мало времени, чтобы выстоять во враждебном империалистическом окружении, где готовятся силы для уничтожения СССР, являющегося оплотом грядущей мировой революции трудящихся. Но ведь при создании Советского государства в принятом тогда гимне

– «Интернационале» главной целью провозглашалось разрушение старого «мира насилья» и построение нового, в котором «кто был ничем, тот станет всем!». И далеко не все вокруг желали обещанных перемен...

Так, на практике замыкался круговорот основополагающих идеологических установок большевиков, с которыми они совершали в России свою социалистическую револю-

цию. Круговорот, при котором коренной изъян в аграрном вопросе стал со временем необратимым изъяном самого государства, уже обладавшего атомной и водородной бомбами, ракетами, атомными электростанциями и успешно запускавшего космические аппараты с человеком на борту, но при котором колхозники, окончательно утратив интерес к работе, не могли накормить свой народ несмотря на все сельскохозяйственные эксперименты и ухищрения властей, не изменявших саму систему землепользования.

За два с половиной десятилетия до такого финала, в пост-сталинское уже время, поднять эффективность советского сельского хозяйства взялся Хрущев, считавший себя прирожденным специалистом в этой области. Он освободил жителей деревни от «крепостного права», выдав им общегражданские паспорта, снял с колхозов принудительные поставки зерна государству и разрешил там, на местах, некоторую свободу планирования. Хрущев осваивал огромные целинные площади, укрупнял колхозы, увеличивал количество совхозов, проводил ряд других преобразований.

В 1959 году Н. С. Хрущев совершил свой знаменитый миротворческий визит в США, во время которого побывал также на превосходно организованной и высокопродуктивной ферме, хозяин которой специализировался на возделывании кукурузы. Возвратившись домой, Хрущев сразу провел две сугубо «бытовые реформы»: демократизировал наш общепит, введя по примеру американцев самообслуживание

в столовых и кафе, и прекратил царствовавший на наших улицах автомобильный перегуд. Но не предпринял ни единой попытки провести эксперимент по фермерскому способу хозяйствования. Это было бы покушением на основы. Он лишь ухватился за американскую практику широкого использования кукурузы в общем зерновом обороте страны, увидев в ней панацею для решения проблемы нехватки зерна в СССР. И принялся повсеместно, по-большевистски, внедрять эту культуру у нас. За что и получил прозвище «кукурузник»...

Многие его реформы при всем старании не давали нужных результатов, оказывались и вовсе неудачными, ибо проводились волевыми методами, сохраняя несвободную суть хозяйствования.

И в 1963 году Советский Союз вынужден был – в связи с резким падением урожаев на целине – перейти на постоянные закупки зерна за границей, прежде всего в США. Это произошло всего через два года после полета Гагарина, принесшего нам всемирную славу первопроходцев в космическое пространство.

Затем – уже при Брежневе – рухнуло и животноводство. И в Москву из окружающих ее центральных областей России потянулись «колбасные» автобусы и электрички...

Горькая судьбина российского крестьянства, которое при «отсталом царизме» успешно, в массовых количествах продавало свою сельскохозяйственную продукцию в Европу

(пшеницу, вологодское сливочное масло, прозванное «парижским», и многое другое), определила в конце концов судьбу выстроенного большевиками государства.

Значение, какое литература, искусство и вообще печатное слово обрели в оттепельном пробуждении общества, неизбежно должно было вызвать применение к ним запретительных мер. Это была органика власти.

Но несмотря на угрозные и даже разгромные встречи Хрущева с писателями и художниками, несмотря на его вынужденные попятные оценки Сталина, период оттепели в СССР был неразрывно связан с его пребыванием у власти. В то хрущевское десятилетие произошло у нас высвобождение общественной мысли. И загнать обратно этого выпущенного из бутылки джина казалось уже невозможным, при том что консервативные силы, находившиеся под началом того же Хрущева, все чаще и жестче расправлялись с проявлениями оттепельного свободомыслия. Однако сам он испытывал расположение к Твардовскому, уберег его «Новый мир», разрешил напечатать Солженицына, поддержал Твардовского в публикации его «Тёркина на том свете», о котором резко отрицательно высказывались все идеологические цензоры, а в одном из своих выступлений по радио, снова говоря о Сталине, в сердцах обронил пословицу, что «черного кобеля не отмоешь добела»...

Никита Хрущев был отстранен от власти по сговору сво-

их ближайших соратников в октябре 1964 года. Его лишили высших должностей в партии и правительстве, обвинив в «субъективизме» и «волютаризме» при принятии государственных решений. Но он не был ни расстрелян, ни заключен в тюрьму. Его просто отправили в отставку, на пенсию, проведя всю эту экзекуцию на специально собранном заседании ЦК КПСС, согласно соответствующим положениям Устава партии. Этот послесталинский феномен сам Хрущев отметил потом в воспоминаниях как свое самое значительное политическое достижение.

По тем высшим партийным и государственным должностям, которые он занимал, его полагалось похоронить с почетом у Кремлевской стены на Красной площади. Но похоронили «волютариста» и пенсионера на Новодевичьем кладбище, и никто из бывших его соратников на похоронах не присутствовал.

Противоречивость Хрущева – в характере и во всей его деятельности – была позднее запечатлена в черно– белом мраморе памятника на его могиле, изваянном знаменитым скульптором Эрнстом Неизвестным, фронтовиком, не побоявшимся некогда схватиться с ним в споре во время его разгромного посещения выставки художников– абстракционистов. (Куда Хрущев направился со своими лукавыми идеологическими помощниками.) И памятник этот стал привлекать к себе живой интерес всех проходящих на кладбище.

Отставка Хрущева развязала руки всем тем идеологам,

кто вообще был убежден в недопустимости оттепели.

На повсеместное жесткое подавление свободомыслия были теперь нацелены властью оправившиеся от оттепельного шока карательные органы государства. Суть противоборства состояла в том, что дух свободы не мог ограничиться указанными ЦК КПСС рамками и влек ищущие умы и сердца к поискам всей, а не частичной правды.

«Пепел Клааса» застучал тогда во многих сердцах. Но в тех поисках неизбежно было

добиваться ответа на вопрос: почему оказался возможным пресловутый культ личности со всеми его страшными последствиями для народа. Только ли характер Сталина был тому причиной, или сама насаждавшаяся система социализма несла в себе (и несет вообще) такую напасть, как диктатура, репрессии, превращение людей в «щепки» и «винтики»? И что действительно ведет к благотворным переменам – революция с насильственным переустройством общества или эволюция с постепенным его усовершенствованием? И вот теперь, сводя на нет оттепель, власть потребовала все это забыть.

Служа в армии, я следил за этими переменами прежде всего по книжной серии «Военные мемуары», которая стала издаваться Воениздатом вскоре после доклада Хрущева о «культе личности». Ее книги были весьма популярны среди военных, да и не только среди них. Тогда, в оттепель, открылась свобода духа, и в этой серии появились книги с

невозможной ранее правдой о войне. Дозированной, разрешенной, но – правдой. В них были свидетельства того, что в действительности происходило в войсках накануне и в начале войны, приводились факты противоречивых приказов, поступавших с самого верха. Все это подтверждало допущенные лично Сталиным военные и политические просчеты, его вину за катастрофу 1941 года.

Так, в воспоминаниях маршала С. С. Бирюзова, командовавшего в то время стрелковой дивизией, говорилось о наглых вторжениях немецких военных самолетов в глубь нашего воздушного пространства еще за несколько месяцев до начала войны. Было очевидно, что это разведывательные полеты с аэрофотосъемкой советских военных объектов и мест расположения войск. Но приказ Сталина категорически запрещал открывать по ним огонь. Дабы не спровоцировать войну...

Другой автор, генерал армии И. И. Федюнинский, вступивший в апреле 1941 года в командование стрелковым корпусом на Западной Украине, свидетельствовал о мощном сосредоточении немецко-фашистских войск непосредственно у советских границ. Такие данные непрерывно сообщались пограничной и армейской разведками. Однако официально утверждалось, что отношения между Советским Союзом и Германией оцениваются как нормальные и соответствующие пакту о ненападении.

А в книге генерала армии А. В. Горбатова прямо расска-

зывалось и о репрессиях, которым были подвергнуты военные кадры. Целая глава книги посвящалась аресту, тюремным допросам и истязаниям, затем пребыванию в ГУЛАГе самого автора. Глава эта, написанная честно и смело, называлась «Так было». Книга генерала А. В. Горбатова вышла в свет в начале 1965 года (после журнальной публикации в «Новом мире»). Но в 1968 году в той же серии была издана книга маршала К. К. Рокоссовского, также хватившего тюремного лиха в течение трех лет. И рукопись смертельно больного маршала, хотя он сам решил не писать о своем аресте и пребывании в тюрьме, уже подверглась долгой изматывающей правке в кабинетах Главпура, из нее было изъято много страниц с размышлениями и оценками действий высшего руководства, как накануне войны, так и в ходе ее, на самых важных стратегических направлениях. Опять нельзя стало говорить об очевидностях, более того – о том, о чем вчера говорить было можно.

Как и полагалось, из ЦК КПСС повелели руководству Союза писателей навести, наконец, в крамольном «Новом мире» должный порядок. Мол, ваш журнал – действуйте. Руководство постаралось. Была разработана и проведена иезуитская трехходовка по обезглавливанию журнала: сперва уволили самых близких Твардовскому членов редколлегии, с которыми он прошел весь свой славный оттепельный путь; их сразу заменили чуждыми, даже враждебными ему

людьми; а затем, после тщетной попытки главного редактора журнала попасть на прием к Брежневу, приняли его отставку.

Через полтора года Твардовский умер – рак легких. Оттепель кончилась.

Застой

Этот глухой период в жизни страны более полно именовался как брежневский застой. К продовольственному кризису добавился еще тупик, в который плановая экономика завела производство промышленных товаров для населения. А экономическая реформа рыночной направленности, проводившаяся главой правительства Косыгиным (и начатая при Хрущеве), была прекращена. Выявилось ее несоответствие основам советского государственного строя с единовластным руководством КПСС. Как тогда говорили:

«Брежневские партийные геронтократы побили совминовских косыгинских технократов». (Имелось в виду, что члены Политбюро, принимавшие эти решения, были весьма пожилого возраста.)

Должен сказать, что материальные обстоятельства, возникшие в застой и осложнившие повседневный быт стоянием в очередях и прочими подобными заботами, не оторвали людей, с которыми я близко общался, от всех вопросов, захвативших их в оттепель. Я не ставлю им это в заслугу. Ко-

нечно, в столице нехватки продуктов и других товаров были несопоставимы с положением вне ее. Но я уверен, что большинство людей, которых я имею в виду, и в других обстоятельствах остались бы «при своих интересах». Такова была их природа, их существо. Посему и продолжу именно эту тему.

Естественным ответом властям на тотальный зажим духа свободомыслия, правды и совести было возникновение самиздата. Как широкое явление, самиздат вобрал в себя весь спектр неподцензурной – написанной, сказанной и спетой – продукции слова. Все, что отвергалось единосушей в стране партийно-государственной печатью, быстро превращалось в многочисленные машинописные или иные нетипографские копии и передавалось по рукам, а то, что не пропускали на радио и телевидение, становилось магнитофонными записями и слушалось по компаниям. Помню, как мне удалось еще в оттепель перепечатать у своей знакомой машинистки весь роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» (получилось около 700 страниц). Рукописное и магнитофонное полководье внутри страны дополнялось просачиванием тамиздата – зарубежных изданий здешних и тамошних авторов на русском языке, а главное, интенсивным накатом радиопередач иностранных станций, работавших специально для населения Советского Союза, – «Голоса Америки», Би-би-си, «Немецкой волны», «Свободы», «Свободной Европы».

Безусловно, главной, сквозной книгой, нашей «библи-

ей» во всем процессе прозрения стал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, изданный тогда за границей и подпольно проникавший в СССР. Ловили мы и передачи Би-би-си, в которых Солженицын сам читал главы своего «художественного исследования» – читал замечательно, звонко, захватывающе, артистично. Он был в то время светочем правды, недостижимым примером бесстрашия и силы духа. Пророком в своем отечестве. В него верилось тогда абсолютно, его считали сверхчеловеком – победил в схватке один на один всемогущую партийно-государственную репрессивную машину, пройдя перед этим испытание фронтом, лагерем, раком...

Сообщали, конечно, «вражеские» радиостанции и скрываемую властями информацию о том, что происходило в стране сейчас, о преследовании правозащитников, борющихся за права человека, политических критиков режима, выступающих против подавления гражданских свобод, о цензурных запретах произведений литературы и искусства и наказании их авторов.

И тут началось яростное тотальное преследование этого «антисоветского» духа свободы. Зловещая карательная машина, быстро восстановленная во всей прежней мощи и дополнительно оснащенная по сравнению со сталинскими временами современной электронной техникой, снова заработала на повышенных оборотах. Весь диапазон имевшихся на отечественных приемниках радиоволн, на которых вещали

«вражеские голоса», стал напрочь забиваться мощными глушилками. «Голос социализма» – так называли мы это раздражающее зудение в эфире. Глушилки работали плотно, без щелей, днем и ночью. Государство не жалело электроэнергии и боролось с поступающей по радиоэфиру информацией безо всякой дипломатии. Приходилось искать иностранные приемники с расширенным диапазоном волн. Или находить умельцев для переоборудования своих. Самым популярным приемником (и магнитофоном) был немецкий «Грюндик». (Это зафиксировал и Владимир Высоцкий в своей песне про Канатчикову дачу, взбудораженную телепередачей о Бермудском треугольнике, где упоминался «дантист-надомник Рудик»: «...у него приемник «Грюндик», он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ».)

На первых порах с активными своевольниками власти разделялись методами административного давления по месту работы и жительства, общественной компрометации и травли. Потом, вскоре, включили в дело судебные расправы. Эти процессы подгонялись под специально и срочно принятые статьи Уголовного кодекса, дабы продемонстрировать, что социалистическое государство карает лишь хулиганов, тунеядцев, уголовников, а не политических инакомыслящих. Вот этих последних и преследовали беспощадно. И еще один способ обезвреживания смутьянов вошел тогда в широкую практику – объявление их психически больными и насильственное помещение в особо определенные для них

психушки. И в самом деле, какой нормальный человек станет бороться против самого передового и справедливого общественного строя...

Но были в стране такие люди, как академик Сахаров, заставить которых без позорной и широкой огласки властям не удавалось никак – из-за их мировой профессиональной известности, абсолютного морального авторитета и непоколебимой стойкости характера. И тут режиму помог его создатель – против них стали применять ленинский прием выдворения. Вспомнили специальные «философские» пароходы (их было два), на которых по приказу интеллигентного Ленина был вывезен вон из России, ставшей «Совдепией», целый отряд гуманитариев с европейскими и мировыми именами – известнейших философов, историков, экономистов, правоведов, богословов, не эмигрировавших с родины после Октября 1917 года... Теперь первым выдворили, предварительно арестовав и заключив в тюремную камеру, А. И. Солженицына. Затем, не промешкав долго, выдавили Виктора Некрасова, Александра Галича, Владимира Войновича... А академика Сахарова, одного из создателей водородной бомбы и трижды Героя Социалистического Труда, изолировали, сослав в закрытый для иностранцев город Горький (ныне – снова Нижний Новгород).

Общий поток свободного человеческого духа был опять загнан в подполье, разбит, раздроблен на отдельные очаги и очажки сопротивления, возникавшие среди интеллигенции,

студентов, бывших политических заключенных. Но большая часть таких локальных очажков не противоборствовала власти открыто. Это были маленькие домашние площадки личной свободы, на которых собирались компании из доверявших друг другу людей.

Подобная закрытая компания была и у меня – в моей послеармейской жизни, когда я стал профессиональным литератором. В компании подобрались люди, так или иначе связанные с литературно-издательской работой. И если определять суть наших тогдашних усилий, то заключалась она в страстной потребности узнать историческую правду, доискаться до первопричин, понять, что и почему произошло с Россией, со всеми нами. Здесь мы обменивались самой свежей информацией, горячо обсуждали ее, слушали магнитофонные записи Окуджавы, Высоцкого, Галича, Кима, передавали для прочтения по кругу все, что доставали из самиздата и тамиздата, и даже, как студенты, в этом своем домашнем мини-университете читали вслух полученные на короткий срок статьи и книжки. Состав компании был сравнительно солидный, не богемный. Но, конечно, застольничали, и заключительным был обычно тост, автором которого являлся известный литературовед и пародист Зиновий Паперный: «Выпьем за то, благодаря чему, мы несмотря ни на что».

Наши собрания-посиделки не нацеливались на какую-нибудь активную деятельность вовне – за пределами компании каждый сам на свой лад приспособливался, вписывался

в окружающую действительность, сопротивляясь ей по мере личных возможностей и складывавшихся обстоятельств. Тем более что среди нас имелись и пострадавшие ранее за свое слишком смелое и размахистое просветительство, за откровенные политические высказывания: один наш товарищ, технарь, которого мы звали «Грюндик», еле-еле избежал ареста, поплатившись увольнением с работы и административными карами, другую приятельницу крепко проработали по доносу в своей первичной парторганизации. Как это тогда практиковалось, мы соблюдали правила маскировки от посторонних глаз и ушей – «душили» подушками телефон, соизмеряли свои голоса и громкость магнитофона со звукопроницаемостью стен, пола и потолка в квартирах, были внимательны при общении с соседями. Замечу также, что мы отдавали себе отчет в своей пассивной позиции по отношению к режиму и никак не переоценивали свое поведение, зная о тех правозащитниках и инакомыслящих, кто боролся с властью публично, подвергаясь жестоким расправам. Но и жить после оттепели без своего глотка свободы уже никак не могли.

Противоборство между партийно-государственной идеологической машиной и вырвавшимся на свободу духом правды и совести стремительно обострялось. «Машина» охраняла и подтверждала незыблемость фундаментальных догматов, по которым выстраивался режим, а «дух» их раз-

венчивал, вскрывал правду о Великой Октябрьской социалистической революции, отказывал КПСС в праве быть «руководящей и направляющей силой советского общества». И поскольку незаконные деяния Сталина доказывали правоту сомневающихся в возможности построения справедливого общества через диктатуру одного класса, партии, личности, разоблачительная критика Сталина была воспрещена.

Застой перешел в период ползучего неосталинизма – с чуть подновленными, привычно обкатанными трактовками советской истории и адресными репрессиями против явных сопротивленцев режиму. По сравнению с абсолютистской эпохой Сталина в тоталитарном биноме «насилие – ложь» изменился порядок членов формулы на обратный: «ложь – насилие» при ослабевшем размахе арестов и заключений. (Нынешняя власть сама опасалась бумеранга массовых репрессий по методу Сталина.)

Власть, понятно, использовала все принадлежащие ей в стране средства массового воздействия на умы и души граждан. Помню, с каким изумлением читал я в «Правде» пре-большую – на два или три подвала – статью тогдашнего министра обороны Гречко, приуроченную, должно быть, к тридцатилетию начала Великой Отечественной войны. Статья была написана так, словно никакой катастрофы 41-го года с тяжелейшим отступлением нашей армии по всему фронту в глубь страны, с колоссальными потерями людей и военной техники не происходило вовсе. А имел место лишь геро-

ический, изматывающий врага, наносящий ему урон отход – чуть ли не по замыслу товарища Сталина, который именно под Москвой, у самых стен ее, задумал и осуществил свой стратегический план первого сокрушительного удара и разгрома немецко-фашистских войск. Как фельдмаршал Кутузов...

Эта установка декларировалась после того, как во время оттепели были опубликованы фактические данные (пусть неполные, фрагментарные) об ужасающей трагедии, пережитой и армией, и мирным населением, попавшим в 1941 году под оккупацию на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, в центральных областях России. Так что общая картина катастрофы начального периода войны была достаточно представима. Из разных источников можно было вычитать, что в первый же день войны немецкая авиация разбомбила более шестидесяти наших военных аэродромов и уничтожила 1200 боевых самолетов, основная масса которых даже не поднялась в воздух из-за неготовности, неисправности, растерянности, отсутствия на местах летчиков, отправленных в отпуск. Это сразу обеспечило полное господство немцев в воздухе. А на седьмой день войны, 28 июня, немецко-фашистские войска уже заняли столицу Белоруссии Минск, замкнув тем самым окружение главных сил советского Западного фронта. Под Белостоком и Минском немцы взяли 300 тысяч пленных. Затем, в сентябре, 600 тысяч воинов Красной Армии попали в окружение при бессмысленной оборо-

не, по приказу Сталина, обреченного Киева. И в том же сентябре, всего через два с половиной месяца после нападения Германии на СССР, немецкая группа армий

«Север» полностью окружила Ленинград. Началась варшавская блокада города, в котором тогда насчитывалось около трех миллионов человек. Одновременно, взяв еще 16 июля Смоленск, немецкая группа армий «Центр» с боями, преодолевая героическое сопротивление наших вырвавшихся из окружения дивизий, двигалась к Москве.

В это время уже два миллиона бойцов и командиров Красной Армии, рассеченной и раздробленной по всему фронту стремительными ударами механизированных клиньев противника, оказались в плену, столько же погибли в героических, но безуспешных, часто совершенно бесполезных контратаках и при отступлении под сокрушительным натиском немецкой военной машины, господствовавшей и на земле, и в воздухе. В общей сложности безвозвратные потери нашей армии за первые полгода войны оценивались в четыре миллиона человек; огромные потери были понесены в боевой технике – самолетах, танках, артиллерии...

Так или иначе, но правда о 1941 году – для тех, кто хотел ее знать, – уже не была за семью печатями.

Тогда много писалось об этой катастрофе и ее причинах. Известен был и ее главный персонаж.

Было уже очевидным, что катастрофическое для СССР начало Великой Отечественной войны явилось прямым

следствием установившейся в стране единоличной диктатуры Сталина с массовыми репрессиями во всех слоях общества, отчего армия понесла – в мирное время! – невосполнимый урон в командных кадрах и ущерб в боевом оснащении. (Выводилась даже цифра этого кадрового урона – 80 тысяч генералов и офицеров за 1937– 1941 годы.) Сюда же добавлялись следствия и внешней политики Сталина, вступившего в двойной, публичный и тайный, сговор с Гитлером, в котором фашистский диктатор перехитрил, переиграл советского...

Конечно, та предвоенная ситуация писана-переписана многими авторами и с разных точек зрения. Но я не спорю, а лишь излагаю здесь ход своего познания и осмысления известных исторических фактов, событий и решений государственных деятелей того времени, кои долго у нас замалчивались.

3. На пути к войне

Вторую половину тридцатых годов я застал уже в отроческом возрасте и хорошо помню владевшие людьми в нашей стране стойкие антифашистские чувства и взгляды. О том, что фашисты, стоящие у власти в Германии и Италии, являются «поджигателями войны и злейшими врагами всех трудящихся», говорилось даже в цитировавшемся уже мною школьном учебнике истории СССР для младших и средних классов.

Помню, с каким братским участием следили мы за гражданской войной в Испании между республиканцами и мятежниками генерала Франко. На слуху у нас, школьников, были испанские города Гвадалахара, Уэска, Сарагоса и, конечно, столица Мадрид, где шли ожесточенные бои, и каждый знал испанский боевой лозунг-заклинание

«No pasaran!» («Они не пройдут!») – фашисты не пройдут... Но «они» прошли – с военной помощью Гитлера и Муссолини. Хотя наши военные – летчики, танкисты, командиры-советники – тоже были посланы туда, на подмогу республиканцам. (Однако официально это почему-то не признавалось и говорилось об этом с многозначительным умолчанием, полушепотом.) Помню затем, с какой теплотой, сердечностью встречали мы, как героев, испанских детей, вы-

везенных нашими пароходами из Барселоны и Валенсии по Средиземному морю, какой заботой окружали их в наших пионерских лагерях, в детских домах.

Еще помню, как отец взял меня с собой в наш ленинградский Дом писателя на выступление немецкого певца-антифашиста Эрнста Буша, вырвавшегося, как было объявлено, из гитлеровских застенков. На сцене стоял широкоплечий мужественный человек в берете с поднятым на уровень головы сжатым кулаком и пел четким суровым баритоном свои зовущие на борьбу песни. До сих пор в памяти сохранились две строчки из припева к его знаменитой песне-маршу:

Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам!

Все тогда знали немецкие слова – «Рот фронт», «Роте фане»...

А потом запомнилось недоумение, даже растерянность на лицах взрослых людей, не позволявших себе сомневаться в правильности политики своих выдающихся руководителей во главе с великим товарищем Сталиным. И уклончивые взгляды, шепот между собой близких друзей, кратко, скрытно обсуждавших заключенные с Германией договоры.

Договоров было два: «Пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией», подписанный в Москве 23 августа 1939 года, и «Германо-советский договор о дружбе и гра-

нице между СССР и Германией», заключенный 28 сентября 1939 года также в Москве всего через месяц и пять дней после пакта. Этот второй договор – «о дружбе» – впоследствии всячески замалчивался, даже отрицался, как будто бы вовсе не существовавший, тем более что там открыто речь шла и о новой «границе», возникшей между договаривающимися сторонами в результате военного раздела ими Польши. Раздел Польши был произведен после нападения на нее Гитлера, которое и вызвало неотвратимое начало Второй мировой войны. Таким образом, СССР сделался тогда прямым союзником фашистской Германии. Что и зафиксировал данный договор. Понятно, эту страницу истории властям хотелось изъять.

К моменту заключения первого договора – пакта – с СССР Гитлер уже присоединил к Германии Австрию, захватил Чехословакию, частично поделив ее с Польшей и Венгрией, оккупировал в Литве порт Клайпеду, ставшей сразу Мемелем. (Моему поколению с отрочества запомнились бывшие тогда в ходу термины «аншлюс» и «польский коридор», географические названия «Данциг», «Мемель», «Судеты».) Эти захваты были пока бескровными: Гитлер мотивировал свои требования подавляющим преобладанием там немецкого населения и достигал цели, применяя ультиматумы, шантаж, провокации, демагогию. Но и на этой начальной стадии его бандитские методы, агрессивность, наглость, размах действий, проявились со всей определенностью. Одна-

ко Англия и Франция вели по отношению к нему политику уступок, апофеозом которой стал так называемый Мюнхенский сговор.

В послевоенные уже годы мне не раз приходилось видеть кадры кинохроники (их показывают по ТВ и сейчас в подходящих случаях), запечатлевшие Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании, только что прилетевшего из Мюнхена, где он и премьер-министр Франции Эдуард Даладье подписали в конце сентября 1938 года соглашение с Гитлером и Муссолини о расчленении Чехословакии. По требованию Гитлера Германии была отдана Судетская область. В тот же день, после заключения этого четырехстороннего соглашения, была еще подписана отдельная декларация Англии и Германии о взаимном ненападении, равносильная пакту. Спустившись по трапу самолета, Чемберлен картинно поднял руку с этим листком бумаги и торжественно произнес: «Я привез вам мир!» И всякий раз, глядя на эту модель английского джентльмена с аккуратно подстриженными усиками и безукоризненно одетого, думалось о том, что произошло в Европе ровно через год после Мюнхена...

Однако почему все-таки западные страны – Англия и Франция – пошли по пути «умиротворения» Гитлера и не решились на союз со Сталиным, чтобы вместе противостоять фашизму в Европе? Очевидно, при всем том, что и Англия и Франция к середине 30-х годов уже видели, что представляет собою Гитлер, он был для них все же, по сравнению

со Сталиным, «свой негодяй». Из двух зол Запад отвергал – по своему расчету – наихудшее. И в этом раскладе нет никаких оснований отрицать, что тот же Чемберлен, «умиротворяя» Гитлера, хитроумно рассчитывал направить его агрессию, всю его злодейскую энергию, прежде всего на Восток, против СССР.

Два договорщика

Зная последующий ход истории, становилось также понятным, что у Гитлера, говоря советским партийным языком, было две последовательных программы действий – «минимум» и «максимум». Программа-минимум имела целью сведение счетов с Европой за Версаль, которым окончилась Первая мировая война. Да, Германия пролила много европейской крови, принесла странам континента неимоверные, казалось тогда, беды и страдания, утверждая свои экспансионистские амбиции. Но и Европа, победив, с лихвой отомстила ей.

В моей домашней библиотеке, собранной отцом, сохранился объемистый, крупноформатный том «Все страны» – политический, общественный и экономический справочник 1926 года, зафиксировавший мироустройство на тот момент. Из приложенных там карт, схем, таблиц и текстов действовавших тогда международных договоров и решений различных конференций меня особенно заинтересовал и поразил

полный текст Версальского договора.

Версальский договор и предусмотренные по нему плебисциты существенно и болезненно сжали границы Германии. В территориальном ее обрубании приняли участие все страны-победители. Этот геополитический передел нанес нещадный удар по экономике Германии, усиленный еще наложенными на нее огромными репарациями в пользу победивших союзников. Специальный раздел Версальского договора посвящался разоружению Германии.

При всей очевидности вины кайзеровской Германии за развязывание и бесчеловечное ведение войны (с применением отравляющих газов) понесенное ею возмездие обрело едкий привкус мести. И при чтении текста Версальского договора, в названии которого имелось также слово «мирный», возникала мысль о том, что эти итоги Первой мировой войны уже были чреваты Второй, в них закладывалось последующее вождевленное стремление Германии к реваншу. Надобен был лишь приход вождя. И он, фюрер, пришел, став во главе фашистской партии, получившей тогда многозначительное для всех немцев прозвище «тевтоны». (То было название объединенного древнегерманского племени, которое в Тевтобургском лесу в I веке н. э. уничтожило вторгшиеся римские легионы и заставило самого римского императора Августа отказаться от покорения Германии.)

Действия Гитлера, при всей их изошренности, были понятны. Реванш в Европе был ему нужен не только ради ре-

ванша, хотя и он сам, и вся нация слишком хорошо запомнили Версальское торжество Антанты. Победы в Европе, над Европой должны были сплотить, вознести немецкую нацию, обкатать, опробовать в бою армию и флот, созданные в явное и демонстративное нарушение наложенных на Германию ограничений, должны были вселить в ее вермахт победный тевтонский дух, напоить славой и уверенностью в своей все-сокрушающей силе и всемогуществе. И – подчинить Германии весь экономический потенциал Европы, что было не менее важно, чем воинский дух. Вот только когда становилось возможным от «программы-минимум» переходить к «максимуму».

А «максимум» был – «Drang nach Osten», натиск на Восток, завоевание жизненного пространства со славянскими рабами для Великой Германии, для «тысячелетнего Рейха», который закладывал, утверждал в истории именно он, Гитлер. И воплощал тем самым в действительность десятивековое стремление германцев...

Никакой Чемберлен не мог изменить эту последовательность осуществления захватнических вождедений немецкого фюрера.

Но чтобы успешно, наверняка выполнить свою «программу-минимум» в Западной Европе, Гитлеру было необходимо на этот период обеспечить полную безопасность Германии на Востоке, со стороны той самой России, на просторах которой предстояло затем привести в исполнение его «про-

грамму-максимум», главную часть и основную цель всего сатанинского проекта. Той России, которая до сих пор неприемлемо относилась к фашизму, к фашистской Германии, к Гитлеру и уже несколько лет прилагала усилия для единения против него с Англией и Францией, а во время фашистского мятежа Франко в Испании, поддержанного Гитлером и Муссолини, оказала военную помощь республиканцам.

Гитлер умело вел свою игру. Его расчеты в это время были целенаправленно точны, дипломатические шаги, как явствует из результатов, психологически продуманны и реализовывались весьма искусно и напористо. Инициатива договоров с СССР исходила лично от него и адресовалась лично Сталину. И как раз в тот момент, когда Англия и Франция прислали в Москву для продолжения давно тянувшихся переговоров делегацию, состоявшую из второстепенных лиц, не имевших решающих полномочий, и когда Сталин, понятно, был раздражен, уязвлен их маневрированием. А Гитлер еще ловко подбросил дезинформацию, что западные державы начали тайные консультации и переговоры с Германией. Сталин не проявил ни проницательности, ни дальновидности, ни выдержки. Прекращение переговоров между СССР и Англией-Францией последовало незамедлительно. Их место в советских дипломатических исканиях международной устойчивости сразу заняла Германия...

В шестидесятые годы в Советском Союзе (а на Западе гораздо раньше) настойчиво заговорили о том, что к пакту о

ненападении имелись секретные протоколы, или соглашения о разграничении германо-советских геополитических интересов и прямых территориальных приобретений. Взявшийся за раскрытие правды о наших договорах с Гитлером и событиях того времени историк А. Некрич подвергся за свою небольшую книгу «1941, 22 июня» преследованиям и был вынужден покинуть страну. Книга его была изъята, причастные к ее изданию лица наказаны. Но мне вместе с моими друзьями удалось тогда, в 1965 году, ее достать и прочесть.

С тех пор начались поиски документов, подтверждающих эти тайные договоренности. Кое-что было найдено, по крайней мере, из косвенных, но неопровержимых доказательств. Однако и безо всяких бумажных улик весь действительный ход событий, происходивших после заключения пакта, достаточно убеждал в наличии тайного сговора (устного или письменного) между Гитлером и Сталиным, Германией и СССР относительно сфер влияния и дележа территорий².

Но Гитлер был не только инициатором пресловутого пакта, но и дирижером этих поворотных событий. Он торопил Сталина, настаивал, требовал принять Риббентропа в Москве для заключения этого договора в назначенное им, Гитлером, число – 23 августа. И 23 августа 1939 года пакт был подписан. А 1 сентября, уже через неделю, Гитлер, уве-

² Во второй половине 80-х годов «секретные протоколы» к пакту Риббентропа – Молотова, как его называют историки, были обнаружены в президентском архиве (бывший архив ЦК КПСС), и доложены генсеку Горбачеву, однако преданы гласности эти документы были только в 90-е годы при Ельцине.

ренный, что война на два фронта ему не угрожает, вторгся в Польшу.

Доведенные к тому моменту до крайнего накала отношения между Германией и Польшей (удовлетворившей по Версальскому договору все свои территориальные требования), были общеизвестны; отлично знал об этом и Сталин. Многие главы европейских государств, а также президент США и папа римский призывали эти враждующие страны немедленно сесть за стол переговоров. Заранее очевидно было и неизбежное следствие военного конфликта между ними. Но Гитлер шел напролом. Ему не нужно было «умиротворение», ему был нужен военный успех. Еще после Мюнхена он заявил, что у него «украли победу»... В ответ на германское вторжение Великобритания и Франция, согласно их договорам с Польшей о взаимопомощи, объявили 3 сентября 1939 года войну Германии. Вторая мировая война началась.

Вслед за вторжением в Польшу 1 сентября 1939 года войск германского вермахта, через семнадцать дней, когда ее неизбежный крах стал реальностью, с востока на территорию Польши вошла Красная Армия, чтобы, как было сказано в заявлении Молотова, взять «под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии». Все области этих западных земель в ноябре того же года были официально присоединены к СССР и включены соответственно в Советскую Украину и Советскую Белорус-

сию.

Да, конечно, Польша, как страна, тогда распалась, правительство улетело в Лондон (помню, как в наших газетах польского министра обороны маршала Рыдз-Смиглы называли Рыдз-Сбиглы, он бежал в Румынию). Да, население Западной Украины и Западной Белоруссии приветствовало Красную Армию, и вхождение этих земель в братские советские республики происходило как волеизъявление их жителей и было оформлено постановлением Верховного Совета СССР. Но распалась то Польша от совершенной против нее агрессии, под ударами армии Гитлера! И Советский Союз – если оценивать его действия на основе международного права – принял участие в расчленении суверенной страны. А то, что никаких боевых столкновений между частями вермахта и Красной Армии здесь не возникло, что войска обоюдопунктуально останавливались по достижении определенной разделительной линии, фактически доказывало имевшую место предварительную договоренность участников акции.

И еще одно обстоятельство. Красная Армия перешла границу Польши 17 сентября, когда уже началась Вторая мировая война, когда Англия и Франция объявили войну Германии. Таким образом, Советский Союз, Сталин, действуя согласованно с Германией, оказывался в тот момент на стороне Гитлера. А Гитлер поступал по классической бандитской методе: чтобы накрепко привязать к себе необходимого со-

участника, без которого нельзя «пойти на дело», – его «берут в долю», «повязывают кровью»...

Как известно, Англия и Франция не оказали сражавшейся польской армии реальной военной помощи, Польша была разгромлена и оккупирована. Затем в Европе семь месяцев шла «странная война» – союзники не предпринимали против Германии активных боевых действий, что дало возможность Гитлеру окончательно подготовиться к своему ошеломительному блицкригу 1940 года. И в апреле-мае 1940 года немецкие войска оккупировали Данию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, а потом, через их территорию, в обход знаменитой оборонительной линии Мажино, вторглись в глубь Франции. Перед этим, в конце мая, под натиском немцев, бросив всю технику, эвакуировался из Дюнкерка на свои острова английский экспедиционный корпус. 14 июня германской армией был взят Париж, 22 июня (ровно за год до нападения фашистской Германии на СССР) Франция капитулировала. Гитлер прибыл в Париж и сфотографировался у Триумфальной арки. Затем, уже в апреле 1941 года, Германия захватила Грецию и Югославию. А Болгария еще в марте, как союзник Гитлера, сама дала согласие на ввод в страну немецких войск. Дивизии вермахта находились также в союзных Румынии и Финляндии...

А как в тот же период действовал Советский Союз, Сталин?

Почти одновременно с вводом Красной Армии в Польшу

правительство СССР предложило Латвии, Литве и Эстонии заключить договоры о взаимопомощи. И такие договоры были немедленно – в начале октября 1939 года – подписаны. Ни одно из этих прибалтийских государств не сочло тогда возможным уклониться от предложения Советского Союза. По этим договорам в Латвии, Литве и Эстонии были тотчас размещены советские войска – в оперативно согласованных количествах и местах дислокации. Какое еще требовалось подтверждение имевшемуся геополитическому соглашению между Гитлером и Сталиным?!

Затем 30 ноября 1939 года Красная Армия вторглась в Финляндию. Война длилась четыре месяца, к СССР полностью отошел Карельский перешеек с городом Выборгом (Виப்புри), а граница, проходившая всего в двадцати пяти километрах от Ленинграда, была отодвинута на 150 километров.

Тем временем активно происходили коренные внутренние перемены в прибалтийских государствах, с которыми СССР заключил договоры о взаимопомощи и где разместил свои войска, создавая для себя «фронт безопасности». Там были переизбраны парламенты, вскоре объявившие в один и тот же день – 21 июля 1940 года – свои страны советскими социалистическими республиками. И, чуть погодя, «удовлетворяя просьбу литовского, латышского и эстонского народов», Верховный Совет СССР принял Литву (3 августа), Латвию (5 августа) и Эстонию (6 августа 1940 года) в состав

СССР на правах союзных республик.

Наконец, тем же летом была возвращена СССР – мирным путем – Бессарабия, которая с 1918 года находилась под румынской оккупацией. Теперь как по команде Румыния без долгих споров вернула эту территорию, и в августе 1940 года в СССР была образована еще одна союзная республика – Молдавская ССР.

Хочу кое-что добавить о Прибалтике, о Латвии, с которой связана история моей семьи. После заключения с Советским Союзом договоров о взаимопомощи в этих государствах отнеслись к советским воинским частям вполне лояльно, в крупных городах (например, в Риге) даже приветственно – там уже устали от немецкого духа, местных авторитарных правительств, а многие люди, в том числе вполне состоятельные, считали себя социалистами, хотели либеральных перемен. Отрезвление наступило позже (довольно скоро), когда вслед за войсками туда втянулись органы советского НКВД и, опираясь на тамошних «пролетарских» активистов, взялись за проведение классовой политики. И в Сибирь потянулись эшелоны с «капиталистами», владевшими микрозаводиками, мастерскими, прочими подобными частными предприятиями, магазинами и собственными домами, в которых при аресте хозяев под видом обысков производилось все теми же активистами разграбление имущества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.